

А. А. УХТОМСКИЙ

Правда сердца

Алексей УХТОМСКИЙ

**Правда сердца. Письма к В.
А. Платоновой (1906–1942)**

«ИП Князев»

УДК 94 (47 + 57) (093.3)
ББК 63.3 (2) + 72.3 (2)

Ухтомский А. А.

Правда сердца. Письма к В. А. Платоновой (1906–1942) /
А. А. Ухтомский — «ИП Князев»,

ISBN 978-5-9909419-6-0

Алексей Алексеевич Ухтомский, ученый с мировым именем, более трех десятилетий (1906–1942) переписываясь с Варварой Александровной Платоновой, в письмах к ней крайне редко касался физиологической науки и университетской среды. Их переписка, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела – в глухие, трагические времена – хронику их любви: от светлого порыва в молодости к любви в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается много дороже житейского счастья.

УДК 94 (47 + 57) (093.3)
ББК 63.3 (2) + 72.3 (2)

ISBN 978-5-9909419-6-0

© Ухтомский А. А.
© ИП Князев

Содержание

Предисловие	7
Правда сердца	14
1	14
2	15
3	16
4	17
5	19
6	21
7	22
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Алексей Ухтомский
Правда сердца. Письма к В.
А. Платоновой (1906–1942)



© Кузьмичев И. С., составление, предисловие, 2017
© Издательство «Трактат», оформление, 2017

Предисловие

Они встретились осенью 1905 года. Их переписка охватывает более трех с половиной десятилетий.

Она жила в родительской семье на 13-й линии Васильевского острова, на углу Большого проспекта. Он холостяком – недолго на Тучковой набережной, а потом еще ближе к ней, в казенной квартирке на 16-й линии: когда обосновался на кафедре физиологии. Там он так и прожил всю жизнь, даже академиком не изменив своей «вышке», своему «закуту», там и скончался в блокадном августе 1942 года.

В глухие, трагические времена два этих строгих и благочестивых человека исповедывались друг другу, и переписка их, сравнимая со страницами эпистолярного романа, запечатлела удивительную историю их взаимоотношений – от светлого порыва к совместной жизни в молодости до драматических превратностей в дальнейшем и единения на почве религиозной, запечатлела потаенную хронику их любви – в высшем, христианском ее понимании, когда духовное родство оказывается дороже житейского счастья.¹

Как-то в 1915 году Ухтомский объяснял Варваре Александровне: «Мне, знаете ли, важно для самого себя высказаться – оформить свои мысли. В былое время это лучше всего удавалось мне в своем дневнике, когда говоришь сам с собой! Но теперь мне не удастся писать дневник, так что нередко я записываю туда для памяти самому себе то, что уже написал в письмах. Пиша письмо, я впервые улавливаю свою мысль, смутно бродящую в душе, так что тут же, в мыслях, впервые и самому себе раскрываю я некоторые стороны своей внутренней жизни. И в особенности это происходит, когда я пишу Вам... Здесь я столько же беседую с Вами, сколько с самим собой...»

Такая вот откровенность. И неслучайно письма, заменявшие ему дневник, Ухтомский просил не выбрасывать. В них он запечатлелся как доверчивый собеседник и как аскет, как трибун и как затворник, заботливый друг и человек до старости по-детски ранимый, в любой момент готовый «оградить себя молчанием» от мелочной суеты и бесовской сутолоки ради «своей беседы с Высшим».

В письмах к Платоновой он почти не касался физиологической науки, для этого находились другие адресаты, их было немало. А Варвару Александровну не ахти как интересовала университетская среда и позже ничуть не смущало его солидное положение академика. Он всегда оставался для нее Алексеюшкой, родным, близким по духу, по вере и по судьбе. Она же – словно воплощала его собственную душу, и разговаривать с нею в письмах было ему – как дышать.

Переписка Ухтомского с Платоновой «переводима» на общедоступный язык лишь до известной степени. Их письма друг другу, во всей полифонии эмоциональных оттенков, намеков, скрытых смыслов, были до конца вняты им одним, и то, что на посторонний взгляд может показаться странным и вызвать недоумение, для них было нормально и объяснимо.

Письма двоих, – предназначенные только им самим. И любой, даже самый тактичный, читатель рискует оказаться непрошеным гостем в укромном духовном убежище.

...Он звал свою юную корреспондентку с осторожной почтительностью по имени и отчеству – Варварой Александровной, сразу же задав в письмах к ней наставительный тон интеллектуальной беседы, дотошно излагал спонтанно рождавшиеся мысли и, явно склонный к назидательности, если не сказать к проповедничеству, внушал ей апостольские максимы. Мог рассказать о глупых дрызгах в родительской семье, о своеволии «бездушной, безгранично эгоистической матери», угнетавшей дочерей мелочной опекой, и заклеить «тупую и слепую

¹ Подробнее об этом см.: Кузьмичев И. С. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова: Эпистолярная хроника. СПб., 2000.

злобу проклятого мещанского мирозерцания». Мог пожаловаться на утомление от вздорных кляуз в Никольском приходе и просил подумать, отчего предприимчивость у русского человека сделалась синонимом вороватости, – не есть ли это черта, пробивающаяся в нашей истории с самих собирателей Руси? Он писал ей охотно и обо всем, но с особой настойчивостью пытался донести до Варвары Александровны свое личное представление о «народной вере и Церкви», не «господской и поповской», а истинной – старорусской. Заметил как-то: «Ищет народ. Хочется быть с народной душой».

С присущим ему харизматическим даром внушения, Ухтомский направлял разговор с Варварой Александровной в религиозное русло, в тайне почувствовав, что встретит тут благодатную почву для взаимопонимания.

В письмах к Платоновой разговор о прозревании Бога во всемирной истории, о христианском идеале жизни и роли Церкви в нравственном самовоспитании сопровождается навязчивой мыслью: что есть Бог для России? Ухтомский пристально оглядывал тысячелетнее прошлое страны, оценивал события на рубеже веков с этой точки зрения и не мог побороть в себе тревогу. Процесс развития народного самосознания он воспринимал сквозь призму личного духовного опыта и хотел взвесить долю индивидуальной ответственности за все, чему предстоит быть. Уже вскоре после обескураживающей русско-японской войны Ухтомский ощутил симптомы надвигающегося на страну идеологического раздора, государственной нестабильности и морального разлада, почувствовав себя одиноким в честном стремлении «работать русское дело».

С отчаянием он признавался Варваре Александровне: «Страшно сказать, я привык где-то в самой глубине души видеть в окружающих людях (за немногими исключениями) вредных для России людей. Сидят люди передо мной и болтают, а я на них смотрю и чувствую только одно, что они мне ни в чем не товарищи, ничего общего у меня с ними нет, и надо от них только беречься, т. е. собственно беречь свое дело».

Он был одинок в служении не только своему делу, но и своему идеалу «прежней, детской, естественной жизни с легким и прямым духом». Одиночество томило его, то поднимаясь к критической отметке, то утихая и смиряясь. Мечта о такой жизни в любви к ближнему, краеугольный камень которой заложила в нем покойная тетя Анна Николаевна, была зыбкой, влекущей и лишь на маленьких островках, отвоєванных у обыденности, обещала воплотиться в реальность.

Таким островком для Ухтомского и стала В. А. Платонова.

Он быстро углядел в ней столь же одинокое сердце, способное «решительно отвергнуться себя» ради евангельской, бескорыстной любви.

Ухтомский не мог не признать: встреча с Варварой Александровной зовет его к ответственным поступкам. Привычное аскетическое самоотречение противилось в нем всплеску горячего чувства. Но «головные» преграды, сомнения и страхи – пусть и колеблясь! – он готов был отместить, и решение напрашивалось само собой.

«Откинув условности и границы, поставленные случайными, буржуазными моментами жизни, – записывал он в дневнике 2 декабря 1905 года, – я чувствую, что во имя единой великой и истинной жизни имею право питать чувство к В. А., если только я способен и достаточно силен еще, чтобы поднять живое, действительное бремя жизни».

Варя была по-институтски образованна, знала французский, служила в бухгалтерском отделе правления Рязанско-Уральской железной дороги, отличалась исполнительностью, аккуратностью, но мысли ее были заняты вовсе не «контролем сборов», чем она ведала в конторе, а стихами Лермонтова и Надсона, Бальмонта и Апухтина, музыкой Шопена и Бетховена, Шаляпиным в роли царя Бориса, художественными выставками и книгами, зовущими думать. О том же Наполеоне. Или о старинных праведниках. И даже сочинениях философского толка – с именами Канта, Владимира Соловьева, Хомякова...

Варя мечтала, как они, невзирая на разницу интеллектов и житейские неудобства, будут вместе. «Мне обидно думать, – записывала она в дневнике, – что я должна ждать какого-то „положения“ на его службе, чтобы сделаться его женой. Да, чтобы быть его женой, мне надо и средства и положение, но ведь не женой, не женой я буду ему, не ею хочу я быть и не буду ею, а другом, равным ему человеком, таким же сильным, как он, таким же способным, как он, на труд и лишения товарищем хочу и буду я». Их совместная жизнь, здоровая и цельная, прекрасная «среди книг и мысли», манила ее «как грёза», и Варя уповала на терпение, на свою женскую податливость, надеялась, что Алексеюшка поможет ей «еще больше идти навстречу людям».

Однако счастливые ожидания затягивались, какая-то в их отношениях возникала натужность, и Варя, с ее порывистостью и прямоотой, горевала, сдерживая себя. Она старалась и разгадать Ухтомского, и разобраться окончательно в себе, чувствуя, что любит Алексея Алексеевича безоглядно. Она и надеялась, и сердилась, и тосковала, и со все возрастающим упорством искала выход, допытывалась у самой себя: куда подталкивает ее судьба? Наблюдая за собой, Варя замечала, что ей всегда было неуютно в «большом обществе», перспектива провести вечер в гостиной повергала ее в трепет. «В деревне я одна, та же почти и дома, но в гостиных я другая совсем», – записывала она в дневнике и огорчалась: «Теперь я не бываю нигде, и никто уже меня не зовет, круг моих личных знакомых сужен донельзя, и уже это не круг знакомых, а круг дорогих, родных мне людей». Казалось, она, как и раньше, всех окружавших ее любила, но контакт с ними терял прежний смысл. «Зачем я с ними, чуждая их удовольствий, их стремлений? – спрашивала она. – Уйди я из нашего круга, меня вначале будут жалеть, но обязательно прибавят, а ведь она странная была такая. Я лишняя, я это чувствую все сильнее и сильнее, а мне так и хочется быть ею, но быть действующим лицом, как все наши, я не хочу да и не могу».

Варя внимательно читала духоспасительные книги. Увлеклась по совету Ухтомского «Лествицей». Особо подействовали на нее богословские сочинения Хомякова. Возмущенность при стоянии в храме на молитве, потребность исповеди и духовного наущения укрепляли и углубляли ее веру, ее послушание, но этого оказывалось мало, – хотелось, испытывая себя, осмыслить свой путь к Богу. В июне 1910 года она рассказывала Ухтомскому, что «Лествица» пробудила в ней доселе дремавший трепет перед правдой человеческой жизни. Объясняла ему: прочитай она эту книгу «еще в институте, была бы, пожалуй, в монастыре», да и теперь встретила на ее страницах много пережитого, «близкого и такого родного, такого родного!»

Ухтомский по фамильной традиции принадлежал к старообрядцам-поповцам. Ярославское Заволжье, где он родился, было заселено староверами «Филиппова согласия»: их строгие жизненные правила влияли на княжескую семью, и Алексей Алексеевич был воспитан преданиями «этого замкнутого, и в то же время коренного русского крестьянства». В Петербурге он участвовал в деятельности Единоверческого братства: избирался членом совета в Никольском приходе, заведывал там – безвозмездно – реальным училищем, пребывавшим под покровительством императрицы Александры Федоровны, а в июле 1912 года был избран старостой Никольской церкви. Среди единоверцев князь Ухтомский пользовался безусловным авторитетом как ревностный слугитель «древлего благочестия» и как эрудит-богослов.

Приход Варвары Александровны к единоверцам сулил ей исцеление от затянувшегося душевного разлада, а самым болезненным моментом в их многолетних отношениях стала весна 1912 года. Вот-вот они должны были обвенчаться. Но в очередной – какой уже по счету раз! – дело застопорилось.

В письме от 11 августа Ухтомский, неуклюже оправдываясь, объявил: «Что-то внутреннее и очень серьезное в моем отношении к Вам не допускает этой так называемой „теплоты“, т. е. открытой теплоты! Помните, я когда-то говорил Вам, что мы никогда не будем на „ты“? И это мое серьезное чувство. Я не могу и не должен допускать этого „ты“. Может быть, это только „покамест“. Не знаю. Я чувствую это так глубоко, что считаю это голосом совести».

Лишь невинным смущением и привычкой подавлять «страсти», блюсти чистоту в своей «ученой горнице» такое поведение Ухтомского оправдать было нельзя, – как бы Варваре Александровне этого ни хотелось.

Это уже был взгляд, исключаящий всякие компромиссы с греховной обыденностью – *человеческое* всецело подчинялось *воле Божией*. И похоже, Ухтомский перед житейской суетой не пасовал, а последовательно держался однажды избранной линии поведения. В октябре 1912 года он вновь просил Варвару Александровну отложить их венчание до рождественских каникул...

Как развивались их взаимоотношения в дальнейшем?

Внешне все оставалось по-прежнему. Переписка с той же степенью доверия продолжалась. Ухтомский, так и не решившийся на свадьбу, не меньше, если не больше, нуждался в человеческом участии Варвары Александровны. Однако в ее душе что-то дрогнуло, надломилось, исчезла свежесть надежды. Забыть, разлюбить Алексея Алексеевича и порвать с ним она уже не могла, но сама ее любовь преобразилась и все чаще напоминала материнскую заботу, бескорыстное служение брату по вере.

Летом 1914 года в Россию из Европы ворвалась война и провела в истории страны роковую межу, став предвестником великой русской смуты.

Ухтомский признавался Варваре Александровне: «Нутро мое предчувствует многие беды», – и сам пугался своих прозрений, звучавших диссонансом в благонамеренном общении. «Мне лично, – писал он из Рыбинска в 1915 году, – ужасно тяжело за наш *народ*, за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой, но мне не тяжело за *общество*, за все эти „правлящие классы“ и „интеллигенцию“, которым по делам и мука». Ему претила нелепая иллюзия «боевой интеллигенции» обратить народ в «свою веру», вызывала гнев самонадеянность «благородных» граждан, уповавших на всемирный «прогресс».

Варвара Александровна послушно внимала рассуждениям Алексея Алексеевича, вряд ли так уж постигая их провиденциальный смысл. Социально-исторические проблемы, волновавшие Ухтомского, тот взгляд на мир, какого он придерживался, претензии к интеллигенции и Церкви, сетования по поводу российских нравов и порядков, – все это трогало ее, так как исходило от него, и Варвара Александровна хорошо усвоила свою роль отзывчивого слушателя.

Осенью 1916 года Ухтомский адресовался к Варваре Александровне: «Дорогой друг, если бы я ушел теперь туда, куда меня звали, в Воскресенский монастырь, то это не значило бы, что мы с Вами расстанемся, а значило бы то, что говорил, уходя в пустыню, преподобный Алексей Человек Божий своей невесте: „Пождем, когда благодать Божия устроит с нами нечто лучшее...“ Если Вы были бы невестой моей в обычном смысле слова, то я мог бы решать, „как скажет моя душа“. Но с Вами я не могу не быть вместе, так что вместе же должен решать и уход на служение в иночестве. Когда Вы укрепите меня, у меня будет вдвое сил, чтобы преодолеть себя, свое миролюбие, любовь к родному углу и попробовать быть учеником Христовым...» И тут же добавлял: уйти из университета до конца войны не имеет морального права, это будет похоже на «бегство с поста в критическое время».

Университет он не покинул, а мысль о монастыре в тот момент, казалось бы, оставил. Однако тяжкий путь его духовного восхождения продолжался, его изначальное стремление к самоочищению крепло, и спустя несколько лет – в 1921 году, в обстоятельствах уже совсем иных, не менее беспросветных, – Алексей Алексеевич по некоторым сведениям все-таки тайно принял иночество с именем Алимпий, тем самым как бы окончательно узаконив столь желанное для него положение «монаха в миру».

Их переписка с Варварой Александровной несмотря ни на что продолжалась, хотя часть писем, вероятно, пропала, не сохранилась, другие были отосланы в спешке, с неожиданно подвернувшейся оказией... Алексей Алексеевич стал в письмах душевнее, искреннее, участливее,

а Варвара Александровна еще нежнее, еще упрямее в своем усердии поддержать друга в лихую годину. Сама тональность их диалога стала иной, они будто поменялись ролями, и уже Алексей Алексеевич просил душевной милостыни, тратя «последний запас сил». Когда рушились все прочие опоры вокруг, надежным прибежищем оставалась выпестованная ими любовь, и Варвара Александровна сторицей воздавала своему строгому учителю за его старания, принимая на себя роль утешительницы.

Они остались близкими людьми, встречались изредка в Петрограде, ставшем Ленинградом, и Москве, где Варвара Александровна теперь жила, по первому зову готовы были броситься на помощь друг другу; их сердечную привязанность и духовное родство ничто не могло поколебать, – только вот их переписка после 1922 года, кажется, потеряла прежнюю интенсивность. Пошла ли она на убыль? Трудно сказать. Писем Алексея Алексеевича к Варваре Александровне за 1922–1929 годы не обнаружено, но, судя по всему, они были. А сколько писем послала ему она, можно лишь гадать, в наличии сейчас всего два, и письма эти – как странички, вырванные из знакомой книги: на них лежит печать узнаваемого текста с характерной, непередаваемой интонацией.

21 июля 1925 года Варвара Александровна писала: «За последние две недели я почему-то очень тревожусь за Вас, Алексеюшка, какая-то душевная теснота заполняет нет-нет душу, Бог знает, не случилось ли с Вами чего, не больны ли вновь...» Почему – «вновь»? Видимо, когда заболел, он сообщал ей об этом, а она не стеснялась напомнить о себе, если он почему-либо долго не отзывался. «За это время Вы, как было раньше, близко подошли ко мне, – продолжала Варвара Александровна, – я рада этому чувству, потому что не чувствовать Вас своим другом мне было тяжело, вот и захотелось написать Вам несколько слов...»

В 1930-е годы Ухтомский жил еще настороженнее, чем прежде. Он совсем перестал доверять почте, письма иной раз подписывал фамилиями из своей родословной: А. Каргаломский либо А. Сугорский, а о себе упоминал как о некоем Лёле (так его когда-то звали домашние). Разрозненных писем этого периода к Платоновой сохранилось немного, но они красноречиво передают моральное состояние Ухтомского тех лет.

Одно из этих писем – от 29 августа 1930 года.

Судя по ласковому тону, душевная связь Алексея Алексеевича и Варвары Александровны ничуть не ослабла, если не возросла. Варвара Александровна уже, кажется, переселилась из Москвы в Калугу: то ли вынужденно, то ли добровольно, поближе к Оптиной пустыни, – с намерением в тихом провинциальном городке скрыться от преследований за веру, а может быть, имелись тому и другие причины. Московскую квартиру своих друзей в Брюсовом переулке она навещала наездами, и квартира эта стала передаточным пунктом их писем, доставлявшихся с оказией.

Другое из известных нам писем к Платоновой – спустя четырехлетие – от 2 сентября 1934 года.

«Дорогой друг Варвара Александровна, прежде всего привет Вам от Всякого дыхания, от Владимирской, от Ярого Ока, от Благого Молчания и от Не рыдай мене мати, – пишет Алексей Алексеевич, глядя на домашние иконы. – Весь уголок посылает Вам мир и благословение. А Вы пожелайте от души, чтобы он сохранился подольше в поддержку и в укрепление падающим силам...»

И следом предостерегает Варвару Александровну от излишней откровенности на бумаге. Он имеет основания думать: официальных охотников до их писем хватает, и надо быть «сугубо бдительным, чтобы не разыгрывать пьес по тем нотам, которые тебе представляются сторонними наблюдателями». Его осмотренность вынужденная. «Полоса жизни и истории, в которую мы вошли и в которой приходится идти, – объясняет Алексей Алексеевич, – полна научения и содержания для того, кто имеет открытым слух и способность видения. Но вот чтобы сохранять слух и способность видеть, нужна бдительная дисциплина внутреннего человека...»

В такой обстановке письма в Калугу служили Алексею Алексеевичу целительной душевной разрядкой. Из отправленных им в 1937 году известны два: от 6–7 апреля и от 12 декабря, письмо, адресованное Клавдии Михайловне Сержпинской, ближайшей подруге Варвары Александровны, подписанное именем, взятым из родового древа – А. Сугорский.

Весной 1938 года Алексей Алексеевич привычно ссылаясь на усталость, «надрывы памяти», не строил планов на лето, говорил лишь о предчувствиях, «большой частью нерастовных», и вновь тревожился, что «насиженные места придется оставлять».

Самое же огорчительное – его, к несчастью, стали посещать навязчивые дурные настроения, вызванные «внутренним трением сложной человеческой каши, через которую лежит путь». «Одна из несомненных больных линий в нашей жизни, – писал он, – подозрительность. Я ее терпеть не могу, и всегда был рад тому, что мог себя считать свободным от нее. В людях, с которыми приходилось встречаться, я видел в особенности их добрые черты, а отрицательные отводил в сторону. И это помогало завязывать добрые отношения. Теперь я начинаю все чаще видеть в себе именно подозрительность, нездоровую мнительность в отношении людей».

Душевный разлад удручает Алексея Алексеевича, он просит у калужан прощения за редкие ответы, – это не от лени и «произвола», а потому, что в «отягощенном состоянии внутреннего человека» беседы не беседуются.

В письмах 1940 года Алексей Алексеевич продолжал летать «в шапке-невидимке» в калужский уютный домик, в тихую комнату под абажуром и прикасаться к спасительному миру, призывая друзей «пободрее идти нашими дорогами». Противясь унынию, он писал: «Старики никому не нужны по тем обычаям, которые входят в силу. Поэтому не скажешь, найдется ли угол, где возможно было бы видеть покой и хоть частичное безмолвие напоследях, – а они нужны, чтобы собраться с мыслями и силами! Впрочем, говорить по этим направлениям – значит так или иначе малодушничать...»

Ухтомский сообщал калужанам, что располагает достоверными данными – все его почтовые отправления «регистрируются в любознательных учреждениях». «Я живу в последние месяцы, – признавался он в феврале 1940 года, – разными предвидениями испытаний и перемен, от которых Господь пока отводит, но которые все-таки часто и твердо напоминают о себе. Очень много врагов, сознательных и несознательных, оказывается за последнее время».

А через год грянула Отечественная война.

С августа 1941-го до июня 1942 года Алексею Алексеевичу и Варваре Александровне не удавалось «перекликнуться словом», а в июне он сообщил ей, что был счастлив, получив ее письмо, что он «болен и слаб от ноги, которая делает его калекою, и от пищевода, который дурно пропускает пищу».

Он с профессиональным хладнокровием оценивал свое состояние и в июле 1942 года писал Варваре Александровне: «А мне вот стукнуло 67 лет! Срок по нашей семье очень большой. За то и немощи начались, как в старом доме: не успеваешь заметить, где садится сруб на землю, где перекосило угол и стену, а где сдают балки!»

В последний раз он обращался к ней 22 июля 1942 года: «Вчера получил Ваше письмо, добрый мой друг, и сегодня, в Магдалинин день, пишу, чтобы не откладывать. Очень ждал я Ваших строк, как Вы наверно чувствуете, там вдали...» Алексей Алексеевич утешал Варвару Александровну: болезнь пищевода не злокачественная, – хотя сам, думается, не питал уже никаких иллюзий. «Иногда я ем и тогда несколько подкрепляюсь, – рассказывал он в своем прощальном письме, – а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею. Возраст мой для нашей семьи большой и немощи мои в порядке вещей. Жаль, что они совпали со столь трудными, жесткими для отечества и народа днями! Так нужны сейчас все силы... Простите и помните Вашего преданного А. У.»

31 августа 1942 года Алексей Алексеевич Ухтомский скончался.

И. Кузьмичев

Правда сердца Письма к В. А. Платоновой (1906–1942)

1

9 мая 1906

Дорогой друг, я не могу больше к Вам ходить, потому что мне тем противнее и безобразнее кажется хотя бы один намек на «получение каких-то прав над Вами», чем больше я Вас люблю. Понимаете ли, что чем больше любит Вас моя главная личность, тем больше она отворачивается с ужасом от другой, скверной моей личности, тем больше хочет предостеречь Вас от нее. В этом великая скорбь для меня, но раскол душевный постоянно уже давно.

Тяжело это и смертельно тяжело потому, что что бы я ни делал и ни писал доброго, хорошего, у меня чувство такое, что делаю и пишу для Вас. А между тем не могу дать Вам знать об этом, ибо от того, скверного человека, нижней моей личности, убежать не могу.

Скорбит душа моя до смерти! Господи, ведь Ты-то все можешь сделать. В Тебе мы сосредотачиваем наше всемогущество. Соедини Ты нас, если можно, во славу Твою, в Тебе самом...

2

13 августа 1906

Многоуважаемая Варвара Александровна, очень мне грустно, что не могу воспользоваться Вашим добрым приглашением на это воскресенье. Хотя я уезжаю только в Успеньев день, но меня удерживают эти дни в Петербурге отчасти некоторые спешные дела, которые надо сделать до отъезда, главное же, весьма тяжелое настроение под влиянием рыбинских известий и в предвкушении тамошних впечатлений, – настроение, которым могу быть только в тягость всем вам. Помимо глупых дрязг в моем доме, отнимающих последний покой у бедной сестры Лизы, какая-то глупая и злая судьба делает так, что Лиза с болезнью мужа должна опять встать в зависимость от бездушной, безгранично эгоистической матери. И мало того, что, с постепенным умиранием мужа, у Лизы рушится все «свое» и «любимое», у нее пропадает теперь и то «родное», что казалось ей таким до замужества. Мать теперь решительно отталкивает Лизу от себя и не хочет ее видеть, злобствуя за ее якобы участие в ненавистном для княгини сватовстве сестры – Марьи.

Вот она где – тупая и слепая злоба проклятого мещанского мирозерцания! «Дух глухий и немый», которого не побеждают не только жалкие попытки социалистов, но и сам Христос.

Впрочем, я хотел писать не о том, а хотел обратиться к Вам с покорнейшей просьбой: если можно, – не устраивайте, пожалуйста, до меня хоругвий, о которых говорили в последний раз. У меня будет свободное время после 1 сентября, когда надеюсь вернуться в Петербург, и тогда мне хотелось бы спроектировать и обработать хоругви посерьезнее.

Если это дело не очень спешное, то сделайте так, пожалуйста. Эта работа была бы для меня очень приятною, и я на ней отдохнул бы.

Мой искренний привет всем Вашим.

Преданный А. Ухтомский

3

6 июля 1908

«Если, говоря людям, заденешь словом своим общее всем, тайно и глубоко погруженное в душу каждого истинно человеческое, то из глаз людей истекает лучистая сила, насыщает тебя и возносит выше их. Но не думай, что это твоя воля подняла тебя: окрылен ты скрещением в душе твоей всех сил, извне обнявших тебя, крепких силою, кою люди воплотили в тебе на сей час; разойдутся они, разрушится их дух, и снова ты ровен каждому...» «Невозможно исчислить разнообразие людей и выразить радость при виде духовного единства всех их...» «Жалко их, и жалко силу веры, распыленную в воздухе...» «Схватили меня, обняли, и поплыл человек, тая во множестве горячих дыханий. Не было земли под ногами моими, и не было меня, и времени не было тогда, но только радость, необъятная, как небеса. Был я распыленным углем пламенной веры, был незаметен и велик, подобно всем окружающим меня во время общего полета нашего...» «Ночью я сидел в лесу над озером, снова один, но уже навсегда и неразрывно связанный душою с народом, владыкой и чудотворцем земли».

Вот, матушка моя, сколько я Вам выписал из этой замечательной книги. Повторяю, со стороны художественной, психологической правды она – редкий цветок. Если говорить о философской стороне, тут будет много спору. Сейчас я не буду говорить об этой стороне. Во всяком случае, и тут, с моей точки зрения, автор чрезвычайно близок к правде. Выписки мои дадут Вам, конечно, только конспект того, как идет душевная жизнь рассказчика. Прочтите-ка книгу-то!

Мне думается, что Вы поймете из нее лучше, чем из моих слов, и то, что так меня привлекает в народной вере и церкви <...> не в той вере и церкви, которую обделали по-своему, на свой вкус и потребу «белая кость» с попами. Понимаете ли, что во всем пошибе, во всех мелочах господской и поповской церкви сквозит оскорбительная претензия «поднять и облагородить» народную веру и церковь; странная, грубая, невежественная претензия поднять и облагородить то, что выше и благороднее их!

Ищет народ. Хочется быть с народной душой!..

4

6 июня 1910

Я не помню, писал ли я Вам о моих богословских взглядах, которые хочу я когда-нибудь развить. Кажется, что вкратце писал я Вам об этом.

Теперь мне опять хочется говорить об этом, потому что горьковская «Исповедь» подняла во мне старые мысли.

Кругом нас, в близкой нам окружающей действительности Бога не видно. Мы и все люди – ждем Его, разыскиваем, боеем тем, что в ближайшей действительности Его нет. Его пока все-таки нет. Он – предмет нашего желания и предчувствия, любви, ревности и пр., но Он не есть нечто нам уже данное. Это и значит, что мы веруем в Него, хотя Его еще и нет.

Бог – это центральная идея, с которой носится человек в истории. Вся история – ряды человеческих попыток *осуществить Бога*. Это стимулирующая, творящая идея истории. Если бегло пройти мыслью через историю Древнего Востока, Египта, Иудеи, Греции и Рима, развитие движения человечества будет сказываться в том, как там и тут осуществлял себе Бога человек, как понимал Его, как «открывался» Он ему. «Каков Бог данного человека или данного момента истории, таков сам человек и момент истории». В истории человек постепенно открывает Бога, и, по словам ап. Павла, «вся тварь с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих».

Итак, Бог есть то, чего пока, в ближайшей действительности, *еще нет*, то, во что, однако, постоянно *верует* человек, чего ищет, за всемирную историю свою, и что *осуществляется* в меру веры и разумения человеческого.

По идее церковной письменности, Бог будет постоянной и ближайшей действительностью тогда, когда «царствие Божие приидет в силу»; это значит, что тогда, хотим мы того или не хотим, Бог будет перед нами, – будет настоящим, судящим нас фактом. До тех пор Бог не стоит перед нами настоящим фактом, но осуществляется для нас настолько, *насколько мы верим и хотим Его осуществления*. «Егда Бог яве над станете» – это, по церковной идее, день *Страшного Суда*. До тех пор Бог не стоит над нами «яве» (явно) и Божия жизнь плодится самим человеком в меру его веры, прозорливости, духовного возраста: «Словом ты проповедавшие пророцы, и делами почеташии, безконечную жизнь приплодиша». Одним словом, принудительности никакой нет, когда человек начинает верить в Бога: вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дело принуждения. *Только потом и постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе, т. е. уже в принуждении – хотим мы ее или нет*. И очевидно, что пока мир течет так, как течет он до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы – элемент веры – не будет совсем исключен из его истины. Это, в самом деле, будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира, «егда Бог яве надстанете», кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается – это нечто страшное для нас; люди мало над этим думают.

Что же из этого следует. Следует, что Бог и истина не есть только греза или «сон души человеческой», созданный для того, чтобы как-нибудь удовлетвориться, как-нибудь забыться от действительности. О нет! В определение истины входит гораздо более то, что она судит, ограничивает, требует, чем то, что она удовлетворяет. Человек творит новое в мире, благовествуя на свой страх Бога миру; но это же новое и судит его. Это и значит, что человек не ограничивается возвращением лишь того, что получил (что было бы простым, пассивным и ленивым «применением к действительности»); но он, на основании действительности, на основании того, что получил, «творит другие пять талантов», вносит их – свои плоды – в мир, и отныне они уже делаются *фактом*, судящим его и мир, хотя они того или нет. Одним словом,

Бог – не субъективная греза души, но – по мере того как человек открывает и осуществляет Его – есть стоящая перед ним и судящая его сила.

Такова, по-моему, природа человеческой веры, истины и знания, такова природа жизни и развития. Это с Духовной Академии и есть моя философская вера, и развить ее – моя надежда. Вы понимаете, как дорого мне было читать у М. Горького столь близкие и родственные понимания! Ужасно дорого чувствовать, что не один ты так думаешь, но есть люди, пришедшие к тому же, к чему пришел ты. И тем более хорошо это, что тут думающим так оказывается М. Горький, искренний и сильный русский человек, говорящий не только сам за себя, но и за момент, переживаемый русским народом.

Вы понимаете, конечно, что все эти понимания и мысли требуют тщательного развития, тщательной обработки. Я потому и не говорю о своих пониманиях, что считаю их совсем не разработанными. Тут еще много неясного! И у Горького бросается в глаза то, что он не освоился со своими пониманиями. У него есть и прямые противоречия себе. Он ведь, например, ярко подчеркивает, что Бог не есть простое «самоудовлетворение» и «самоуспокоение» отчаявшихся, измученных, слабых душ. Бог открывается, по Горькому, лишь свободным и сильным духом. И, с другой стороны, в конце книги выходит как будто, что Бог есть исключительно творение народа. Тут явная неясность. Надо выяснить, какова природа этого «творения народа»...

5

7 июня 1910

С праздником, добрый друг, Варвара Александровна, с добрым солнечным, летним праздником – Троицыным днем, в который отцы наши в первый раз после Светлого дня преклоняли колена и, проливая на цветы слезы – столько слезинок, сколько было в руках цветиковых лепестков, – возвращались к обычному течению страдного, природного года. Пред прощением с уходящим до будущего года Великим Праздником они, наши старики, – склонившись на цветы, вспоминали отшедших отцов и предков своих, раньше них прошедших жизненную страду. Вспоминал и я сегодня, на троицыных цветах, отшедших моих и Ваших: тетю Анну, отца, дедов, отца Вашего, Ольгу Александровну, рабов Божиих Павла, Григория. Полна была их жизнь, и прошла она. Теперь мы на их черед. Дай, Боже, пройти ее, не утерев пути Христа!.. Дорого яичко в Христов день, – дороги и цветы в день Троицын.

А Вы не сетуйте на меня, что молчал до сих пор. Ведь адреса Вашего я не знал, – не могли мне сообщить его ни дворник, ни швейцар в Вашей квартире. Ходил я дважды, чтобы Вас встретить, но не встретил. <...> Только с неделю как получил Ваш адрес от Никольских и хотел сам поехать к Вам на дачу, а не писать. Но пока что выбраться не могу, и потому вместо поездки пишу.

Все это время с Вашего отъезда вхожу в свою работу над корковыми центрами. Море это великое и пространное не только по литературе, написанной уже на эти вопросы, но и по существу фактов, какие открываются при эксперименте. Трудно пока уловить ариаднину нить, которая руководила бы в этом лабиринте. В последнюю неделю опыты были неудачны: три кошки подряд умерли до окончания операции. Подобная вещь наблюдалась у меня и в прошлые годы, после сильных жаров (например, в прошлом году в середине июля): очевидно, тяжелая жара дает себя знать и на организме животного, – хлороформ выносятся ими в этих условиях с трудом. <...>

Я не могу еще считать, что моя работа вошла в колею; пока что она идет вяло; дает себя чувствовать утомление от зимней сутолоки по чужим делам; кроме того, не успокоились еще и различные дела с гимназией и посетителями. В последнее воскресенье, – легко сказать, – у меня было подряд, один за другим, *по пяти* посетителей, из которых по крайней мере трое по неотложным делам. Само собою, это не благоприятствует сосредоточению внимания на текущую работу. Но, надеюсь, эти посещения и дела приходят к концу, и теперь я сяду за дело вовсю – т. е. не только за опыты, но и за чтение литературы в свободные от опытов дни.

Статья моя «О церковном пении» ужасно задержалась в печатании. Она оказалась чрезвычайно длинной, и оттого нелегко включить ее в газету, забитую думскими и всякими другими отчетами. <...>

В статье я в значительной степени высказался по моему наболевшему вопросу о церковном искусстве. Не знаю, принесет ли это какой-нибудь хороший плод, но у меня была настоящая потребность сказать, что у меня наболело. <...> При всех очень многих своих недостатках, эта статья мне очень дорога. И скажу Вам по секрету: *мне дорого было бы, если бы прочли ее не мимоходом, не поверхностно именно Вы. Я пришлю ее Вам на днях.*

Проводил на прошлой неделе семью Лацинских; а теперь провожаю Мякутиных. Это навеивает какое-то грустное чувство: Лацинский – моя связь с прошлым, Мякутин – человек из настоящего, один из немногих, с кем у меня так много общего. <...>

В прежнее время я не так грустил, расставаясь с людьми, потому что верил, что стоит покопаться – и везде найдешь в человеческой душе то, что тебе родственно и дорого. А теперь я состарился, нет уже энергии для разыскивания *своего* в людях, и оттого хочется крепко держаться за то, что уже дано, и грустно, когда свои люди (свои по духу) уходят вдаль.

До свиданья. Не сетуйте на меня, ради Бога.
Сердечный мой привет Вашим.

Ваш А. Ухтомский

6

20 июня 1910

Милый друг Варвара Александровна, вот ведь не приходится поехать в Александровский поселок, да и только. Уж непременно думал сегодня быть в Вашей Палестине, но... кошелек мой оказался пуст, *совершенно* пуст до понедельника. Сейчас лежит в моем кошельке только... лабораторный ключ! <...> И я так не привык, что в кошельке ничего нет, что вчера вечером преспокойно сидел в вагоне трамвая до своего угла – 16-й линии, не зная, что заплатить мне нечем, и... кондуктор меня *выгнал*, «*выгнал*»! Вы не можете и представить себе, как это было стыдно и скверно!

На этой неделе у меня вообще были горя, т. е. не то чтобы настоящие горя, а такие маленькие события, которые помаленьку создали смутный осадок на душе. Во-первых, умер кролик, старший, который в прошлом году был в Рыбинске. В последние дни он был ужасно скучен, – ничего не ел и не пил, все сидел, уткнувшись носом в пол. Подлец маленький кролик пользовался его слабостью и, пробираясь в кухню в мое отсутствие, грыз бедного старика. Утром третьего дня старик умер.

Затем начались кляузы по училищу <...> отец Семен пустил в газеты, без моего ведома, объявление от училища, где сказано, что оно «с правами правительственных» и что оно с будущего года будет в новом специальном здании. И то и другое есть ложь. <...> Я предполагаю уйти из заведующих, хоть и очень жаль мне оставлять это дело, – дело молодое и по замыслу очень хорошее. Но я все равно не могу быть настоящим заведующим, уделяя так мало времени на училище. <...>

А как Вы думаете, отчего это русский человек так странно в большое и хорошее дело вносит обман; отчего это «предприимчивость» у русского человека сделалась синонимом «вороватости»? Ведь у нас в приходе все – чисто русские люди и, несомненно, воодушевлены лучшими намерениями, когда утруждаются до того, что прибегают даже к обману?

Чудное это дело. А между тем у нас это на каждом шагу. «А у нас, брат, толкуют, что в русском человеке предприимчивости мало! А как тебя послушать, так, пожалуй, ее даже больше, чем следует!» (Салтыков-Щедрин). Это так беседуют у великого писателя интеллигент с добрым деревенским мужиком. И это ведь не то чтобы признак какого-нибудь временного «развращения нравов». Это черта, так и пробивающаяся в нашей истории с самых «собираелей Руси».

Я надеюсь быть у Вас в понедельник, получив деньги.

До свиданья.

Ваш А. Ухтомский

7

Дорогая Варвара Александровна, во-первых, сегодня мне ужасно хотелось Вас видеть и поговорить: вчера было совсем не разговорное настроение, – на заказ его не сделаешь.

Во-вторых, сегодня у меня удивительный день. Я пошел взять билет и возвращался по Невскому пешком; при этом я встретил одного за другим 4-х старых, очень старых своих знакомых, которых не видел много лет. Вот они по порядку встречи:

1) Подполковник Кулябко, начальник Жандармского отделения в Киеве; не видал его с 1890 года, когда он окончил корпус.

2) Владыка Арсений, бывший Волынский викарий, нагасакский миссионер и затем епископ Сарапульский. Не видал его с 1900 года.

3) Подполковник Раттель, фельдфебель моего выпуска из корпуса, бывший на последней войне в качестве адъютанта одного из действовавших корпусов в Восточном отряде. Не видал его с 1901 года, когда он окончил Академию Ген. штаба.

4) Полковник Надежный, с которым мы усиленно дрались в корпусе. Был на войне, тяжело ранен пулей в живот (под Шахэ). Не видал его с 1892 года, когда он окончил корпус.

И все эти встречи на протяжении одного часа!

Пронеслась почти вся жизнь перед глазами! И уже мы начали сесть! У Раттеля борода седая, – говорит, что поседел на войне, так было тяжело. В особенности тяжело вспоминает одну ночь, когда командир корпуса, сделав распоряжения, уехал куда-то вперед, а уводить с позиций корпус *с боем* пришлось не кому иному, как ему – Раттелю! Тут, в одну темную, скверную ночь, пришлось пережить, по его словам, больше, чем за целые годы.

Надежный тоже с большой сединой в голове, но лицо осталось совершенно то же, что было. За Шахэ получил Георгия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.